

Марк ТВЕН

**АМЕРИКАНСКИЙ
ПРЕТЕНДЕНТ**



Марк Твен

Американский претендент

Издательство «РИМИС»

1892

Твен М.

Американский претендент / М. Твен — Издательство «РИМИС»,
1892

Невероятные приключения ожидают молодого английского графа Росмора на просторах далеких Соединенных Штатов. В поисках «американской мечты» он находит своего дальнего родственника, «гениального» изобретателя, предпринимателя и чревовещателя – полковника Мельберри Селлерса, главным проектом которого была покупка Сибири для устройства в ней республики. На пути к цели у амбициозного юного графа встанут непреодолимые трудности. Ему предстоит стать художником, постоять за свою честь в уличной драке, «погибнуть» в огромном пожаре, стать «материальным духом» и, наконец, обрести любовь всей своей жизни. Иллюстрации: Дэн Берд и Хал Херст.

© Твен М., 1892

© Издательство «РИМИС», 1892

Содержание

ОТ АВТОРА	5
ГЛАВА I	7
ГЛАВА II	12
ГЛАВА III	18
ГЛАВА IV	26
ГЛАВА V	30
ГЛАВА VI	35
ГЛАВА VII	38
ГЛАВА VIII	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43



Марк Твен

Американский претендент

ОТ АВТОРА

ПОГОДА В ЭТОЙ КНИГЕ

В этой книге нет никакой погоды. Это опыт выпуска в свет книги без погоды. Такая попытка впервые предпринимается в области изящной литературы. Она может потерпеть провал, но упрямому и предприимчивому человеку она могла показаться соблазнительной, и вот автор как раз и вздумал попытаться.

Иной читатель, пожалуй, и не прочь бы прочитать всю книгу, но, узнав, что в ней нет указаний погоды, не станет этого делать. А между тем ничто так не подсекает полет мысли автора, как эта возня с погодой чуть не на каждой странице. Но эти беспрестанные возвращения к погоде тягостны и для автора, и для читателя. Положим, погода должна быть указываема при рассказе о человеческой деятельности. Это так. Но ее надо вставлять там, где она не загромождает дороги, где не прерывает потока повествования. И она должна быть самая

подходящая, настоящая, какою ей надлежит быть, а не каким-нибудь жалким любительским изделием. Ведь погода – это совсем особая писательская специальность, и неопытная рука не должна браться за ее изображение, потому что не сделает из нее хорошей статьи.

Автор может начертать лишь картины самой заурядной погоды, он не может это сделать как следует. Поэтому автору казалось, что будет всего благоразумнее для читателя позаимствовать такую погоду, какая необходима для книги, от общепризнанных и прославленных специалистов.

Марк Твен

Гертфорд. 1892

ГЛАВА I

Бесподобное деревенское утро в Англии. Перед нами, на живописном холме, величавое здание: увитые плющом стены и башни Кольмондлейского замка – колоссальный памятник, свидетель баронского величия средних веков. Это одно из поместий графа Росмора, обладателя неимоверно длинного титула, двадцати двух тысяч акров земли в пределах английского королевства, целого прихода в Лондоне с двумя тысячами домов и ежегодной ренты в двести тысяч фунтов стерлингов. Отцом и основателем этого гордого старинного рода был некто иной, как Вильгельм Завоеватель своей собственной персоной, но имя первой прародительницы графов Росмор не попало на страницы истории, так как их союз являлся лишь случайным и незначительным эпизодом в жизни великого мужа, а героиня его была чем-то вроде дочери кожевника из Фалеза.

В столовой замка, в упомянутое нами восхитительное, прохладное утро, находятся всего два лица да остатки остывающего завтрака. Один из присутствующих – старый лорд, высокий, прямой, седоволосый, с суровым лбом; каждая его черта, поза, движение носят отпечаток твердой воли, и в семьдесят лет он бодр, как пятидесятилетний. Другой – его единственный сын и наследник, молодой человек с задумчивыми глазами. На вид ему не больше двадцати шести лет, на самом же деле без малого тридцать. Он – живое воплощение доброты, честности, простодушия, скромности, искренности. Сопоставив такие качества с его высоким званием, вы невольно сознаетесь, что перед вами какой-то ходячий анахронизм – агнец в бранных доспехах. А имя у него действительно громкое: сиятельный Киркудбрайт-Ллановер-Марджи-орибэнкс-Селлерс, виконт Берклея из Кольмондлейского замка в Варвикшире (произносится К'кубри Тлановер Маршбэнкс Селлерс виконт Берклэ из Кемлейского замка Вварикшр). Он стоит у высокого окна с видом почтительного внимания к тому, что говорит отец, и не менее почтительного несогласия с доводами и аргументами старика. Последний во время речи прохаживается по комнате, очевидно, горячась.

– При всей твоей мягкости, Берклея, я знаю, что если ты однажды забрал себе в голову какую-нибудь ахинею на основании своих понятий о чести и справедливости, то тут не помогут (по крайней мере, на время) никакие убеждения. Ты останешься глух и к насмешкам, и к доказательствам, и к приказаниям. По-моему...

– Отец, если вы захотите взглянуть на дело, отбросив в сторону предрассудки, вполне беспристрастно, то не можете отрицать, что я решился на этот шаг не опрометчиво, не из пустого каприза и без всякого разумного основания. Ведь не я создал американского претендента на графский титул Росморов; я не гонялся за ним, не выкапывал его, не навязывал вам. Он отыскался сам собою, чтобы вмешаться в нашу жизнь...

– И сделать мою каким-то чистилищем, благодаря своим несносным письмам, пустым разглагольствованиям, целым кипам нелепых доказательств.

– С которыми вы никогда не согласитесь познакомиться. А между тем он все-таки имеет право на то, чтобы его выслушали, хотя бы на основании простой справедливости. Разбор его писем доказал бы, что этот человек или действительно граф – и тогда мы знали бы, чего держаться, – или опровергнул бы его претензии, что также послужит к устранению всяких недоразумений относительно нашего образа действий. И я прочел его переписку, милорд, я познакомился с нею, добросовестно вникнув в самую суть дела. Цепь приводимых им доказательств кажется мне совершенно полной, в ней нет ни одного недостающего звена, которое имело бы важное значение. По-моему, он настоящий, действительный граф Росмор...



– А я узурпатор, нищий без имени, бродяга? Вдумайтесь хорошенько в то, что вы говорите, сэр.

– Но если он настоящий граф, – допустим, что этот факт будет доказан, – неужели вы согласились бы, отец, неужели вы могли бы незаконно пользоваться его титулом и поместьями хотя бы один день, один час, одну минуту?

– Ты мелешь глупости: все это бессмыслица, непроходимый вздор! Выслушай меня. Если хочешь, можешь назвать мои слова в некотором роде признанием. Я не читал глупых писем из Америки, потому что не имел в том надобности: я был знаком с их содержанием еще при жизни отца теперешнего претендента и моего собственного, сорок лет назад. Предки этого сутяги давали знать о себе моим предкам в продолжение полутора лет. Дело в том, что законный наследник нашего рода действительно отправился в Америку вместе или почти одновременно с наследником Ферфаксов, но застрял где-то в дебрях Виргинии, женился и начал размножать потомство дикарей – для поставки пресловутых претендентов. Домой он не писал, его сочли умершим, и младший брат преспокойно воспользовался наследственными правами. Однако после смерти американского переселенца его старейший представитель потребовал – письменно – признания себя наследником. Письмо это цело до сих пор. Впрочем, и он помер, прежде чем дядя, вступивший во владение имуществом, нашел время, а, пожалуй, и почувствовал охоту ответить ему. Малолетний сын упомянутого старейшего представителя вырос, – на то понадобился порядочный промежуток времени, – и, в свою очередь, занялся писанием писем, приведением доказательств. Таким образом, один преемник за другим проделывал то же самое, кончая теперешним болваном. Это было поколение нищих; ни у одного из них не хватало средств для того, чтобы приехать в Англию или формально начать иск. Ферфаксы сохранили свой титул до настоящего времени и не теряли его никогда, хотя и остались жить в Мерилэнде; но упомянутый претендент утратил право на звание лорда по своей собственной небрежности. Теперь ты видишь, как сложились обстоятельства. Морально американский бродяга может быть признан действительно графом Росмором, но легально он имеет столько же прав на это звание, сколько и его собака. Ну, довольно ли с тебя, наконец?

Наступило молчание. Сын взглянул на фамильный герб, вырезанный на большом дубовом колпаке камина, и сказал тоном сожаления:

– С введения геральдических символов девизом этого дома было: *Suum cuique* – Каждому свое. По вашему собственному смелому признанию, милорд, оно обратилось в сарказм. Если Симон Латерс...

– Ах, оставь, пожалуйста, про себя это противное имя. Десять лет оно торчало у меня бельмом в глазу и до такой степени прожужжало мне уши, что иногда при звуке собственных шагов я слышу ритмическое повторение: Симон Латерс! – Симон Латерс! – Симон Латерс! – Чтобы увековечить эти два слова в моей душе, начертать их в ней неизгладимо, ты решился... Впрочем, на что, бишь, такое ты решился?

– Поехать к Симону Латерсу в Америку и поменяться с ним местами.

– Что? Уступить ему свои права на графскую корону и владения Росморов?

– Да, таково мое намерение.

– Сделать эту неслыханную уступку, даже не предложив его фантастического иска на обсуждение палаты? Да-а... (нерешительно и в некотором смущении). – Клянусь честью, это презабавно! Вы, кажется, рехнулись, любезный сынок. Впрочем, дело ясно: вы опять начали водить знакомство с этим ослом, или, если хотите, с этим радикалом, – что одно и то же, – с лордом Тэнзи из Тольмеча.

Сын не ответил ни слова, и старый лорд продолжал:

– Молчишь – значит, сознаешься? Хорош приятель, нечего сказать! Вертопрах, молоко-сос, позор своей семьи и своего сословия. Для него все наследственные титулы и права – противозаконный захват, благородное происхождение – пустая мишура, дворянские привилегии – мошенничество, всякое неравенство общественного положения – узаконенное преступление и гнусность, а честный кусок хлеба только тот, который заработан личным трудом... Трудом!.. Пхэ! – И старый патриций потерял свои белые руки, точно желая смыть с них воображаемую грязь от черной работы. – Надо полагать, что ты перенял у него эти похвальные убеждения! – заключил старик с презрительной насмешкой.

Легкая краска ударила в лицо виконта, доказывая, что язвительные слова попали в цель, однако он отвечал с большим достоинством:

– Да, вы правы, – действительно, перенял. Я не отрекаюсь от этого и не стыжусь. Теперь вам достаточно ясна причина, побуждающая меня добровольно отказаться от графского наследства. Я устраниюсь от того, что нахожу ложным существованием, ложным положением, и хочу начать новую жизнь честным образом, опираясь только на свое личное человеческое достоинство, как подобает мужчине, и не пользуясь никакими вымышленными преимуществами. Я добьюсь успеха лишь благодаря собственным силам или потерплю неудачу, если у меня не хватит на это умения. Вот почему я намерен отправиться в Америку, где все люди равны и каждый имеет одинаковые шансы. Я хочу жить или умереть, всплыть на поверхность житейского моря или утонуть в нем, выиграть или проиграть, как подобает человеку, разумному существу, но не намерен цепляться за призрачные права.

– Вот оно что. – Отец и сын с минуту смотрели друг другу прямо в глаза; потом граф Росмор прибавил с ударением: – Рех-нул-ся, ну, положительно, рехнулся! – После новой паузы он заметил, однако, переменив тон и впадая в прежнюю иронию: – Ну, что же! Из этого выйдет хоть что-нибудь путное: когда Симон Латерс приедет сюда, чтобы водвориться в нашем замке, я утоплю его в пруду, где поят лошадей. Бедный малый – всегда такой подобострастный в своих письмах, такой жалкий и почтительный! Какое уважение выказывает он нашему знатному роду и высокому положению, как старается задобрить нас, чтобы мы признали его своим родственником, в жилах которого течет наша благородная кровь. И в то же время до чего он беден, убог в своем истертом платье и истоптанной обуви, как издевается над ним нахальная американская чернь за его дурацкую претензию на графский титул и богатое наследство! Пошлый низкопоклонник, отвратительный бродяга! Стоит прочесть одно из его раболепных писем, которые возбуждают во мне тошноту... Что тебе надо?

Последние слова относились к нарядному лакею в камзоле огненно-красного плюша с блестящими пуговицами, в коротких панталонах до колен и ослепительном белье. Он стоял в почтительной позе, плотно сдвинув каблуки, подавшись вперед верхней частью туловища, и держал в руках поднос:

– Письма, милорд.

Милорд взял их, и слуга удалился.

– Вот как раз одно из Америки. От бродяги, конечно. Боже, какая метаморфоза! Уж не прежний конверт из бурой оберточной бумаги, стянутой где-нибудь в лавчонке и с реестром товаров в углу. Нет, теперь все как следует, да еще вдобавок с траурным ободком – вероятно, у него издох любимый кот, потому что ведь этот почтенный джентльмен, насколько мне известно, холост! Запечатано красным сургучом, печать не меньше полукроны, а на ней наш герб-девиз и все остальное. Да и почерк совсем не тот. Адрес написан четко и грамотно. Верно, у него завелся секретарь для красноречивых посланий. Надо полагать, что наша счастливая звезда не померкла и по ту сторону океана. По крайней мере, с оборванцем произошло волшебное превращение.

– Пожалуйста, милорд, прочтите его письмо.

– На этот раз охотно... чтобы сделать честь издохшему коту.

«2-го мая. 14, 42, Шестнадцатая улица.

Вашигтон.

Милорд!

Вменяю себе в печальную обязанность известить Вас о кончине главы нашего знаменитого рода. Высокочитимый, высокоблагородный и могущественный Симон Латерс, граф Росмор, скончался одновременно со своим (фатом-близнецом, в своей резиденции близ деревеньки Деффис-Корнерс, в великом старинном штате Арканзас. (Наконец-то! Вот приятная новость,

сын мой!) Их обоих задавило бревном при постройке копильни, причиной чему была беспечность присутствующих, которые чересчур развеселились и напустили на себя излишнюю удаль, вследствие неумеренного употребления кислой браги. (Да здравствует кислая брага! Хотя я и не имею о ней ни малейшего понятия. Честь и хвала этому пойлу, не так ли, Берклей?) Случилось это пять дней назад, и на месте печальной катастрофы не было ни единого представителя нашего славного дома для того, чтобы закрыть глаза графу Росмору и оказать его праху подобающие почести, как того требует историческое имя и высокое звание покойного. Собственно говоря, оба они с братом лежат пока в леднике – и друзья собирают деньги на их погребение. Но я воспользуюсь первым удобным случаем переслать к Вам их благородные останки (Великий Боже!), чтобы они с подобающими церемониями и торжественностью были преданы земле в фамильном склепе или в мавзолее нашего родового замка. В то же время я выставлю траурные флаги на лицевом фасаде своего жилища, что, конечно, сделаете и Вы в своих многочисленных поместьях.

Теперь же уведомляю Вас, что, вследствие вышеупомянутой печальной катастрофы, я, в качестве единственного ближайшего родственника, нераздельно наследую по закону все титулы, привилегии, земли и имущества почившего, а потому, хотя мне это крайне прискорбно, буду в скором времени ходатайствовать перед палатой лордов о восстановлении моих, несправедливо присвоенных Вами, прав.

Свидетельствуя Вам свое глубочайшее почтение и горячую родственную преданность, остаюсь, милорд, готовый к услугам Вашим
Мельберри Селлерс, граф Росмор».

– Непостижимо! Презабавный, однако, субъект. Право, Берклей, дурацкая наглость этого франта, ну, наконец... колоссальна, сногшибательна, великолепна!

– Да, этот, по-видимому, не раболепствует.

– Какое! Он не имеет и понятия о том, что такое раболепство. Траурные флаги! Чтобы почтить память плаксивого оборванца и его дубликата! И он собирается послать мне их останки. Умерший претендент был полоумный, а этот, новый, уж совсем маньяк. И что за имя! Мельберри Селлерс! Но для тебя оно, пожалуй, звучит слаще музыки. Симон Латерс-Мельберри, Селлерс-Мельберри, Симон Латерс. Ни дать ни взять стучит скрипучая машина. Симон-Латерс-Мельберри-Сель... Ты уходишь?

– С вашего позволения, отец.

Старик постоял немного в задумчивости после ухода сына. «Добрый мальчик и достойный похвалы, – сказал он себе. – Пускай делает что хочет. Противодействие не приведет ни к чему, а только сильнее озлобит его. Ни мои доводы, ни убеждения тетки не подействовали на этого сумасброда. Посмотрим, не выручит ли нас Америка, не образумит ли господствующее там равенство и суровая жизнь немного тронувшегося юного британского лорда? Хочет отказаться от своего звания и стать просто человеком. Недурно!»

ГЛАВА II

Полковник Мельберри Селлерс – то было за несколько дней до отсылки им пресловутого письма лорду Роем ору – сидел в своей «библиотеке», которая в то же время играла для него роль гостиной, картинной галереи и мастерской. Смотря по обстоятельствам, он называл ее то одним, то другим из этих имен. Хозяин мастерил какую-то хрупкую механическую игрушку и был, по-видимому, поглощен своим занятием. Теперь он поседел, как лунь, но в других отношениях остался таким же юным, подвижным, пылким, мечтательным и предприимчивым, как прежде. Его любящая жена-старушка сидела возле него с довольным видом и вязала чулок, а на коленях у нее дремала кошка. Комната у них была просторная, светлая, уютная, с отпечатком домовитости, несмотря на скудное и незатейливое убранство и недорогие безделушки, служившие ей украшением. По углам и на окнах зеленели комнатные растения, и во всей обстановке было что-то неуловимое, неосязаемое, что обнаруживало, однако, присутствие в доме человека с хозяйственным вкусом, заботливо относившегося к своему жилищу.

Даже убийственные хромофотографии по стенам не портили общего впечатления. Они оказывались тут на месте и усиливали привлекательность комнаты, притягивали взор именно своей несуразностью. Вы, конечно, видывали подобные картины. Одни из этих лубочных произведений искусства представляли ландшафты, другие – морские виды, а некоторые были портретами, но все отличались замечательной уродливостью. Портреты изображали умерших американских знаменитостей, однако в коллекции полковника, благодаря смелым поправкам, эти великие люди сходили за графов Росморов. Самый новейший из них увековечивал черты Эндрю Джексона, но здесь его преспокойно выдавали за «Симона Латерса, лорда Росмора, теперешнего представителя графского дома». На одной стене висела дешевая карта железных дорог Варвикшира. Под нею недавно была сделана подпись: «Владения Росморов», а напротив красовалась другая, служившая самым величественным украшением библиотеки и прежде всего бросающаяся в глаза своими размерами. Раньше на ней было написано просто: «Сибирь», но впоследствии перед этим словом было прибавлено: «Будущая». Тут встречались и другие дополнения, сделанные красными чернилами: множество городов с громадным населением, рассыпанных в виде точек в таких местах, где в данное время расстилаются необъятные тайга и пустыни без всяких обитателей. Эти фантастические города носили нелепые и невероятные названия, один же из них, необыкновенно густо населенный и помещавшийся в центре, был обведен большим кружком, и под ним значилось: «Столица».



«Отель» – как с важностью величал свое жилище полковник – был старым двухэтажным строением довольно больших размеров; в былые времена его, конечно, красили и перекрашивали, теперь же все это давно отошло в область воспоминаний. Стояло здание на окраине Вашингтона и, вероятно, служило прежде дачей. Запущенный двор, с покосившимися местами

забором и запертыми воротами, окружал этот дом. У парадного крыльца виднелось несколько скромных вывесок. Главная из них гласила: «Полк. Мельберри Селлерс, стряпчий и ходатай по судебным делам». Другая сообщала, что хозяин отеля был «материализатор, гипнотизер, психиатр» и т. п., словом, человек на все руки.

В комнату вошел седоголовый негр в очках и дырявых белых нитяных перчатках, вытянулся в струнку и доложил:

– Мерс Вашингтон Гаукинс, сэ (сэр).

– Господи Боже! Проси его, Даниэль, проси к нам скорее.

Полковник и его жена вскочили с места и в следующую минуту радостно пожимали руку рослому господину, который смотрелся каким-то пришибленным. С виду ему можно было дать пятьдесят лет, но, судя по волосам, и все сто.

– Прекрасно, прекрасно, Вашингтон, что ты вздумал навестить старых знакомых. Ну, садись, дружище, и будь как дома. Э, да ты смотришься молодцом. Постарел немножко, впрочем, самую малость; тебя сейчас можно узнать, не правда ли, Полли?

– Как же, как же, Берри; он теперь вылитый покойный батюшка, как сейчас его вижу. Этакая оказия, откуда вас Бог принес? Какими судьбами? Сколько, бишь, мы с вами не виделись? Дайте вспомнить...

– Да уж годков пятнадцать, миссис Селлерс.

– Скажите, как летит время. А как много с тех пор воды утекло, сколько перемен.

Ее голос оборвался, губы дрогнули. Мужчины в почтительном молчании выжидали, пока она оправится, чтобы продолжить свою речь. Однако после легкой борьбы с собою хозяйка повернулась, прижимая передник к глазам, и тихими шагами вышла из комнаты.

– Встреча с вами напомнила ей, бедняжке, о детях, – заметил муж, – ведь они у нас все поумирали, исключая самой младшей. Однако прочь заботы – теперь не до них. Давайте лучше плясать; радость не должна омрачаться – таков мой лозунг. И есть ли от чего плясать, есть ли чему радоваться, – все это, в сущности, безразлично, но когда человек весел, он всякий раз становится здоровее, всякий раз, Вашингтон, уверяю тебя; я говорю по собственному опыту, а ведь уж, кажется, доводилось мне в жизни видеть виды. Скажи, однако, где ты пропадал все эти годы, и оттуда ли теперь, или из другого места?

– Ни за что не догадаетесь, полковник. Из Чироки-Стрип.

– С моей родины!

– Так же верно, как то, что я стою перед вами.

– Ну, нет, однако. Ведь не живешь же ты там?

– Конечно, живу, если можно назвать жизнью убогое существование впроголодь, когда все надежды разбиты, а бедность одолевает тебя во всех видах и смотрит из всех углов.

– А Луиза тоже при тебе?

– И она, и дети.

– Остались там?

– Да, ведь не тащить же мне их с собою.

– О, теперь дело ясно: ты приехал сюда хлопотать о чем-нибудь перед правительством. У тебя тяжба? Будь покоен, я все улажу.

– Что вы! Никакой нет у меня тяжбы.

– Право? Ну, так хочешь сделаться почтовым чиновником? Отлично! Предоставь уж это мне. Все будет устроено.

– С чего вы взяли! Я вовсе и не думал поступать в почтовое ведомство.

– Ну, так чего же ты скрытничаешь, дружище? Как тебе не стыдно? Неужели ты боишься открыться старому испытанному другу, Вашингтон? Или, по-твоему, я не сумею сохранить тай...

– Какая тут тайна, пощадите! Вы просто не дали мне...

– Полно зубы-то заговаривать. Я ведь сам тертый калач и знаю, что если человек приехал в Вашингтон, и если он не с неба свалился, а прибыл хоть бы из Чироки-Стрип, значит, ему чего-нибудь надо. Далее я знаю также, что он не добьется желаемого – это верно, как дважды два четыре, – потом останется здесь и начнет хлопотать о другом, опять получит шиш, и так будет продолжаться до бесконечности, пока он не истощит всех своих ресурсов и не дойдет до такого бедственного положения, что ему будет стыдно показаться домой, даже и в Чироки-Стрип. Наконец, сломленный нуждой, этот пришелец отдаст Богу душу, и его похоронят как-нибудь в складчину добрые люди. Вот, например... не перебивай меня, я знаю, что говорю. Уж мне ли не везло на дальнем Западе, помнишь? В Гаукее я был первым лицом, все взоры устремлялись на меня, я считался чем-то вроде самодержца, ну, положительно-таки самодержца, Вашингтон! Прочили меня в посланники при сент-джермском дворе: губернатор и все остальные настаивали на том, проходу мне не давали, ведь ты сам знаешь. Ну, делать нечего, я согласился, приехал сюда, но опоздал всего на один день, дружище. Подумай, каково это, и какие ничтожные обстоятельства влияют порою на историческую жизнь народов. Да, сэр, место было уже занято. А между тем я очутился здесь. Пришлось пойти на компромисс, и я предложил, чтобы меня послали в Париж. Президент был в отчаянии, ужасно извинялся, однако назначение на это место не состоялось. И вот я опять остался на бобах. Помочь горю было решительно нечем; оставалось поубавить немного своих претензий – для каждого из нас рано или поздно наступает день, когда необходимо смириться перед судьбою, да и в этом нет большой беды, Вашингтон. Итак, я смирился и стал просить места посланника в Константинополе. Поверишь ли, не прошло и месяца, как я соглашался уже отправиться в Китай, клянусь тебе честью, а месяц спустя выпрашивал назначение в Японию. Прошел год, я спускался все ниже, ниже, умоляя со слезами, чтобы мне дали какое-нибудь штатное место внутри страны, хотя бы должность приемщика кремней в складах военного ведомства... И, клянусь Георгом, мне и тут не повезло!

– Приемщика кремней?

– Да. Эта должность была учреждена во время революции, в прошлом столетии. Ружейные кремни поставлялись для военных постов из крепости. Так оно и осталось до сих пор. Хотя кремневые ружья вышли из употребления, и самые форты обрушились, но декрет не был уничтожен – его просмотрели или позабыли – так что опустевшие места, где стояла когда-то старинная Тикондерога и другие укрепления, по-прежнему ежегодно получают положенные им шесть кварт ружейных кремней.

Вашингтон задумчиво заметил после некоторой паузы:

– Как это странно: метить на пост посланника в Англии с окладом в двадцать тысяч фунтов и спуститься до места приемщика ружейных кремней на жалованье...

– По три доллара в неделю. Такова человеческая жизнь, Вашингтон, с ее честолюбивыми стремлениями, борьбой и конечным результатом: метишь во дворец и очутишься в канаве.

Друзья задумались и замолчали. Потом гость сказал тоном искреннего сожаления:

– Итак, приехав сюда против собственного желания, единственно с тем, чтобы исполнить долг патриота и удовлетворить эгоистическим требованиям своих сограждан, вы не получили за это решительно ничего?

– Ничего? – полковник даже вскочил от удивления. – Ничего, говоришь ты? А позволь тебя спросить, Вашингтон: быть несменяемым, и единственным несменяемым членом дипломатического корпуса, аккредитованным в величайшей стране на земном шаре, по-твоему, ничего?

Тут наступила очередь Вашингтона онеметь от удивления. Он не мог произнести ни звука, но широко раскрытые глаза и почтительное восхищение, выразившееся на его лице, говорили красноречивее всяких слов. Оскорбленное самолюбие полковника улеглось, и он

опять сел на прежнее место, спокойный и довольный. Подавшись вперед, хозяин заговорил с ударением:

– Что приличествовало человеку, прославившемуся навеки своим опытом, беспримерным в мировой истории? Человеку, ставшему, так сказать, священным по своему несменяемому положению в дипломатии, так как он временно соприкасался через свое домогательство с каждым дипломатическим постом в регламенте нашего правительства, начиная с поста чрезвычайного посланника и полномочного министра при сент-джемском дворе и кончая должностью консула на одной скале из гуано в проливах Зунда – где выдача жалованья производится не деньгами, а натурой, то есть тем же гуано. Остров этот исчез вследствие вулканического потрясения как раз за день до того, когда дошла очередь до моего имени в списке кандидатов на эту вакансию. Конечно, такое лицо, говорю я, имело право на царственные почести, соответственно обширности пережитого им и достопамятного опыта. И я получил то, что приличествовало мне по заслугам. Согласно единодушному решению здешнего общества, по требованию всего народа, – этой могучей силы, отвергающей порою и законы, и законодательство, на декреты которой не подается никаких апелляций, – я был утвержден в звании несменяемого члена дипломатического корпуса, являющегося представителем многообразных государств и цивилизаций земного шара при республиканском дворе Соединенных Штатов Америки. После этого меня привезли домой в сопровождении торжественной процессии, при свете факелов.

– Удивительно, полковник, просто удивительно!

– Это самое высокое официальное положение в целом мире.

– Именно так... и господствующее над всеми.

– Ты нашел настоящее слово. Подумай только: я нахмурю брови – и возгорится война; я улыбаюсь – и умиротворенные народы покорно слагают оружие.

– Но связанная с этим ответственность приводит в содрогание.

– Э, пустяки! Ответственность мне нипочем, я к ней привык, я всегда нес ее на себе.

– Но труд... ведь у вас, должно быть, масса работы? Неужели вы обязаны присутствовать на всех заседаниях?

– Кто, я? Да разве император присутствует на собраниях наместников своих провинций? Он сидит себе дома и только выражает свое одобрение.

Вашингтон помолчал с минуту; потом у него вырвался тяжелый вздох.

– Как гордился я собою час тому назад и какими ничтожными нахожу теперь оказанные мне скромные почести. Полковник, причина, заставившая меня прибыть в Вашингтон... Одним словом, я приехал сюда на конгресс, в качестве делегата от Чироки-Стрип!

Хозяин вскочил на ноги и воскликнул с пылким энтузиазмом:

– Твою руку, любезный друг! Новость великой важности! Поздравляю тебя от всего сердца. Мои пророчества сбываются. Я всегда предсказывал тебе великую будущность. Если не веришь, спроси Полли.

Гость был оглушен такой неожиданной демонстрацией.

– Что вы, полковник, тут нет ничего особенного. Маленькая, пустынная, безлюдная, узкая полоска земли, заросшая травой, вперемежку с гравием, затерявшаяся в отдаленных равнинах обширного континента, – да ведь это такой пустяк! Это то же самое, что явиться представителем пустой бильярдной доски.

– Та-та-та! Напротив, это великое отличие, необыкновенная честь, и ты приобретешь здесь громадное влияние.

– Полноте, у меня нет даже голоса.

– Ничего не значит. Ты можешь говорить спичи...

– Не могу. Население равняется всего двумстам...

– Все это отлично, отлично...

– И жители не имели даже права избирать меня. Мы не составляем пока особой территории. Наша община еще не признана официально, и правительство не знает даже о нашем существовании.

– Не беспокойся, дружище, я все устрою. Я проведу это дело, я мигом доставлю вам организацию.

– Неужели, полковник? Право, это слишком много с вашей стороны. Впрочем, вы остались тем же чистым золотом, каким были всегда, тем же неизменным преданным другом. – И слезы благодарности наполнили глаза Вашингтона.

– Ну, ладно, ладно. Считай, что это дело теперь уж окончено, совсем окончено! Твою руку! Мы станем хлопотать с тобою вместе и добьемся своего.

ГЛАВА III

Успокоившись, миссис Селлерс вернулась обратно и стала расспрашивать Гаукинса о его жене, детях: осведомилась о том, как велика теперь у него семья, и гость рассказал ей о своих удачах и невзгодах в продолжение последних пятнадцати лет, когда ему приходилось переезжать с места на место на дальнем Западе. Тем временем полковнику принесли письмо, и он ушел, чтобы написать ответ; Гаукинс воспользовался этим случаем и спросил:

– Ну, а как шли дела полковника, покуда мы с вами не видались?

– Да все по-старому. Ему, знаете, море по колено, и если бы судьба захотела побаловать его, так он сам не допустил бы этого.

– Совершенно согласен с вами, миссис Селлерс.



– Видите ли, мой муж не хочет измениться ни на самую крошечку; он всегда остается прежним Мельберри Селлерсом.

– Это и видно.

– Он по-прежнему выдумывает разные разности, также добр, великодушен, никогда не унывает и хоть постоянно терпит неудачи, однако же все его любят, как будто бы каждое дело ему удастся наилучшим образом.

– Так всегда бывало и не может быть иначе, потому что он готов на всякую услугу. В нем есть что-то особенное, что располагает к нему каждого. У такого человека не стесняешься попросить помощи или одолжения, тогда как к другим лучше и не подступайся.

– Совершенно верно. Удивительно только, что на него не действует людская неблагодарность. Сколько раз с ним поступали самым низким образом! Многим помогает он выкарабкаться из беды, а те же самые люди отталкивают его потом, как приставную лестницу, когда в ней нет больше надобности... Некоторое время, после таких казусов, он действительно чувствует обиду, его гордость страдает. Я замечаю это потому, что он старается не говорить о прошедшем. И часто приходилось мне думать в таких случаях: «Ну, тем лучше, теперь мой муж образумится, будет осторожнее!» Как бы не так! Не пройдет и двух недель, как он уж все забыл, и вот явится опять, неведомо откуда, какой-нибудь проходимец, прикинется несчастеньким и обойдет его, влезет ему в душу прямо с сапогами.

– Ну, иногда, я полагаю, вам приходилось очень несладко?

– О, нет! Я уже привыкла и, пожалуй, даже не хотела бы, чтобы Селлерс переменился. Если я зову мужа неудачником, то лишь потому, что люди считают его таким, а по мне он человек прекрасный. Едва ли я желала бы, чтобы он стал другим, то есть чтобы в нем произошла большая перемена. Иногда ведь я его и пожурю, и поворчу, но, кажется, я делала бы это, если бы он и не подавал к тому повода. Таков уж у меня нрав. Я даже меньше бранюсь и бываю спокойнее, когда ему не везет.

– Значит, это не всегда с ним бывает? – спросил Гаукинс с просиявшим лицом.

– С ним? Ах, Господи, конечно, нет! Время от времени он, по его словам, «берет верх». Тут уж я сама сбиваюсь с ног, и мне приходится туго. Деньги так и плывут у него из рук. Мельберри начинает собирать к нам в дом всяких калек и дурачков, приводить с улицы бродячих кошек и разного рода несчастных зверьков, которые не нужны никому, кроме него. А когда у нас опять водворяется нищета, я поневоле выпроваживаю их вон, чтобы нам самим не умереть с голоду. Это приводит моего мужа в отчаяние, да и меня, разумеется, также. Вот хоть бы взять, к примеру, нашего старого Даниэля и Джинни, которых шериф продал с аукциона, когда мы обанкротились таким же манером еще до войны. Их угнали на Юг, а после заключения мира они прибрели к нам пешком, измученные работой на плантациях, больные, хилые и уже не способные более ни к какому труду. А мы-то уж как сами бедствовали в то время! Рады были черствой корке, чтобы удержать душу в теле. Между тем муж принял бедняков с такою радостью, точно не мог дожидаться их возвращения, точно он день и ночь молил о том Бога. Отвела я его в сторону да и говорю: «Мельберри, ведь нам невозможно держать их у себя, у нас у самих ничего нет. Чем мы прокормим двоих людей?» – «Так неужели выгнать их вон? Они пришли ко мне с таким доверием; значит, я приобрел чем-нибудь его в прежние годы, и оно послужило им порукой. Это в некотором роде то же самое, что выдать вексель; как же мне теперь уклониться от уплаты? Взгляни, какие они несчастные, бездомные, старые, одинокие». Мне стало стыдно: я почувствовала в себе новую бодрость и сказала кротким тоном: «Ну, что же, так и быть, оставим их. Бог не покинет нас». Он обрадовался и начал было разглагольствовать, по своему обыкновению, но спохватился вовремя и прибавил так смиренно: «Уж я как-нибудь похлопочу обо всем». Это было много-много лет назад, и, как видите, старые калеки все живы.

– Но разве они не исполняют у вас домашних работ?

– Вот захотели! Они работали бы, если бы могли, бедняги, да, пожалуй, и воображают, что приносят какую-нибудь пользу. Но это вздор: Даниэль стоит у подъезда или сходит иногда за покупками; другой раз на них обоих нападет усердие, и они примутся стирать в комнатах пыль, но это, уж так и знайте, делается из одного любопытства, чтобы послушать, что говорят господа, и самим вмешаться в разговор. С той же целью они вертятся тут, когда мы сидим за столом. А на деле выходит, что мы же сами принуждены держать негритянку-девочку для ухода за ними, а другую, взрослую, для домашней работы и для помощи первой.

– Значит, они, должно быть, довольны своей участью?

– Ну, не скажите. Наши старики постоянно ссорятся, и все больше насчет религии. Даниэль принадлежит к дункеровской секте баптистов, а Джинни ярая методистка. Джинни верит в особое провидение, а Даниэль нет; он считает себя чем-то вроде вольнодумца. Вот они и разыгрывают и воспевают вместе гимны, заученные на плантациях, и вечно болтают между собою. Эти люди, несмотря на споры, ужасно любят друг друга, а уж до чего они почитают своего господина, так и сказать невозможно. Ведь он смотрит сквозь пальцы на все их глупости, потакает им и балует их. Я же на все махнула рукой. Пускай себе делают что хотят. К своему Мельберри я привыкла и ни о чем не беспокоюсь больше. Будь что будет, пока Господь не отнимет его у меня.

– Ну, кажется, и теперь полковник рассчитывает в скором времени на поправку своих дел?

– Чтобы снова набрать к себе хромых, слепых, увечных и обратить наш дом в больницу? Это он непременно сделает. Насмотрелась я довольно на его сумасбродства. Нет, Вашингтон, пусть лучше Мельберри не особенно везет под конец жизни, а не то выйдет гораздо хуже.

– Но все равно, будут ли у него крупные удачи, или мелкие, или совсем их не будет, он никогда не останется без друзей... Да, я уверен, что у него всегда найдутся друзья, пока вокруг вас есть люди, которые понимают.

– Ему остаться без друзей! – И миссис Селлерс тряхнула головой с нескрываемой гордостью. – Да, кажется, нет человека, Вашингтон, который не любил бы его. Скажу вам по секрету, что мне стоило адского труда помешать тому, чтобы его выбрали на официальную должность. Люди так же отлично знают, как и я, что Мельберри не годится ни на какую службу, но он решительно не умеет отказать, когда его о чем-нибудь просят. Мельберри Селлерс на службе! Господи, да на что это было бы похоже! Я думаю, народ сбегался бы со всех концов света посмотреть на такую комедию. Это то же самое, как если бы мне выйти замуж за Ниагарский водопад.

Она умолкла и после некоторой паузы вернулась к началу своей речи:

– Вы говорите – друзья. У кого их больше, чем у моего мужа, да еще каких друзей-то! Грант, Шерман, Шеридан, Джонстон, Лонгстрит, Ли – сколько раз сиживали они на том самом кресле, где сидите вы.

Гаукинс немедленно вскочил и с почтительным изумлением стал рассматривать бывшую под ним мебель, чувствуя благоговейный трепет и неловкость, точно он ступил обутыми ногами на священную землю.

– Такие знаменитости! – воскликнул он.

– О, да, и еще много раз.

Вашингтон, словно очарованный или под властью магнетизма, не спускал глаз с оставленного им кресла, и вдруг перед его духовными очами та узкая полоса иссохшей прерии, которую он не мог выкинуть из головы, запылала, охваченная пожаром. Линия огня, все разрастаясь, соединила, наконец, оба ее края и омрачила небеса клубами дыма. С Гаукинсом случилось то, что случается ежедневно с тем или другим путешественником, не смыслящим в географии, когда он, равнодушно поглядывая из окна вагона, неожиданно увидит перед собою надпись на

железнодорожной станции, гласящую, например: «Стратфорд на Авоне». Между тем миссис Селлерс, как ни в чем не бывало, рассказывала дальше:

– О, они так любят послушать мужа, в особенности когда бремя жизни особенно тяготит их и им хочется стряхнуть его с себя. Ведь Мельберри, вы знаете, то же, что чистый воздух, морской ветерок: он освежает их; он дает толчок стране, как говорят эти люди. Не раз мой муж заставлял смеяться генерала Гранта, а это не шутка. Что же касается Шеридана, то у него загораются глаза, когда он слушает Селлерса, точно грохот артиллерии. Главное очарование полковника, видите ли, заключается в том, что он либерален, без всяких предрассудков и знает толк во всем. Это делает его необыкновенно интересным собеседником и настолько же популярным, насколько общеизвестным. Загляните в Белый дом во время общего приема у президента, когда там бывает Мельберри. Вы просто не отличите, кто из них дает аудиенцию.

– Да, он, без сомнения, замечательный человек и всегда был таким. А религиозен ли он?

– Еще бы! Мельберри думает и говорит о религии больше, чем о всяком другом предмете, исключая Россию и Сибирь. Он без устали работает над этим вопросом. Нет человека набожнее его.

– А какого вероисповедания ваш муж?

– Он... – миссис Селлерс остановилась, подумала немного и наивно прибавила: – На прошлой неделе, помнится, он был чем-то вроде магометанина.

Вашингтон отправился в город за своими вещами, так как гостеприимные Селлерсы, не слушая никаких отговорок, настояли, чтобы он непременно поселился у них в доме на все время сессии конгресса. Полковник вернулся в библиотеку и снова принялся мастерить игрушку. К приходу гостя она была уже окончена.

– Вот посмотрите, – сказал он Вашингтону, – теперь все готово.

– Но что это за штука, полковник?

– Так, пустяки. Для забавы ребятишкам.

Гаукинс внимательно рассмотрел его произведение.

– Кажется, это нечто вроде фокуса?

– Угадал. Я назвал ее «Свинки в клевере». Ну-ка, загони их в ограду, если сумеешь.

После многих неудачных попыток Гаукинсу удался этот маневр, чем он был рад, как дитя.

– Удивительно остроумно, полковник. Надо же выдумать такую вещь. И занимательно вместе с тем; я мог бы забавляться вашими свинками целый день. Что вы намерены сделать с этим изобретением?

– О, ровно ничего. Получу патент и заброшу.

– Ну, нет, зачем же. Ведь из такой вещицы можно извлечь порядочные деньги.

Лицо полковника выразило презрительное сожаление.

– Деньги?.. Пожалуй, – заметил он. – Но самые пустячные. Каких-нибудь двести тысяч, никак не больше.

Глаза Вашингтона засверкали.

– Двести тысяч долларов! И, по-вашему, это пустячные деньги?

Хозяин встал, крадучись приблизился к полуотворенной двери, запер ее и на цыпочках вернулся на свое место.

– Можете вы сохранить тайну? – произнес он чуть слышным шепотом.

Гаукинс утвердительно кивнул головой; напряженное ожидание мешало ему говорить.

– Слыхали вы о материализации – о материализации духов умерших?

Вашингтон слышал о том.

– И, конечно, не верили? Да и хорошо делали, впрочем. Эта штука в том виде, как она практикуется невежественными шарлатанами, не стоит внимания. Слабый свет в темной комнате, сбившаяся в кучу толпа одураченных сентиментальных болванов с их верой, трепетом и готовыми хлынуть слезами, а перед ними все один и тот же представитель вырождения про-

топлазмы и герой мошеннических проделок материализует сам себя, изображая, кого хотите: вашу бабушку, внуку, зятя, эндорскую волшебницу, сиамских близнецов, Петра Великого, Джона Мильтона и, пожалуй, хоть черта в ступе, – все это дребедень, жалкое сумасбродство. Но когда компетентный человек располагает в данном случае необъятной мощью науки, это совсем иное дело, любезный друг. Привидение, явившееся на его зов, остается и не исчезает. Можешь ли ты оценить коммерческое значение последнего пункта?

– Да... говоря по правде... не совсем. Вы хотите сказать, что подобное явление, будучи постоянным, а не преходящим, увеличит интерес спиритического сеанса и повысит плату за входные билеты на это зрелище?..

– Зрелище? Ну, угодил пальцем в небо! Выслушай меня внимательно да вдохни сначала побольше воздуха, потому что у тебя сейчас захватит дух. Через три дня я вполне усовершенствую свою методу, и тогда весь мир разинет рот, потому что увидит чудеса. Вашингтон, через три дня, а самое большее – через десять, ты сделаешься свидетелем того, как я стану вызывать умерших в любом столетии, и они воскреснут и будут двигаться. Двигаться? Да что я говорю! Они совсем останутся на земле, чтобы никогда больше не умирать. Они явятся облаченные плотью, со всеми мускулами и во всей своей прежней силе.

– Полковник! От таких вещей хоть у кого захватит дух.

– Ну, понял ли ты теперь, сколько прибыли принесет такая штука?

– Как вам сказать?.. Не совсем понял.

– Ах, Господи! Слушай. Ведь за мной останется монополия, они все будут принадлежать мне, так? Возьмем пример. В Нью-Йорке две тысячи полисменов. Каждый из них получает жалованье по четыре доллара в день. А я замещу их мертвыми за полцены.

– Страшный барыш. Вот никогда не думал. Четыре тысячи долларов ежедневно. Теперь я начинаю понимать! Но годятся ли на службу мертвые полисмены?

– Да ведь они будут тогда живыми!

– Конечно, если вы ставите вопрос на такую почву...

– Ставь его, как тебе угодно. Видоизменяй, как вздумается, а мои молодцы все-таки будут несравненно лучше теперешних. Так как им не нужно ни питья, ни еды и ничего иного, значит, они не станут брать взятки, потворствуя содержателям игорных домов и других скверных притонов, не станут развращать судомоек; если же какая-нибудь воровская шайка подстережет этих блюстителей порядка на пустынном перекрестке и вздумает пристрелить их из-за угла или пырнуть ножом, то повредит им только мундир и, оставшись с носом, будет тут же немедленно арестована.

– Разумеется, полковник, если вы в состоянии поставлять полисменов...

– И полисменов, и кого тебе угодно. Вот хоть бы армия. В настоящее время у нас двадцать пять тысяч человек под ружьем, и они обходятся стране в двадцать два миллиона ежегодно. Я подниму из могил древних римлян, воскрешу греков и поставлю правительству за десять миллионов в год десять тысяч ветеранов, на вербованных из славных легионов всех веков; они станут истреблять индейцев из года в год, преследуя их на таких же материализованных конях, для которых также не потребуется ни единого цента ни на фураж, ни на ремонт. Европейские армии обходятся теперь в два биллиона в год, я заменю их все за один биллион. Я воскрешу способнейших государственных людей всех времен и народов и создам Америке такой состав конгресса, который уж сумеет выйти сухим из воды при всяком затруднении, чего никогда не случалось до сих пор с самого объявления независимости и никогда не случится, пока эти фактически умершие люди заменены настоящими. Я займу троны Европы лучшими умами и лучшими добродетелями, какие только могут доставить царственные гробницы всех веков, – что, однако, не обещает большого проку. Одним словом, я внесу коренные перемены в бюджеты и гражданские списки всех стран, удержав за собою только половину прежних расходов, и тогда...

– Полковник, да ведь если ваши проекты осуществляются хоть отчасти, тут можно нажить миллионы и миллионы.

– Лучше скажи: биллионы. Биллионы, дружище! Видишь ли, штука эта до того близка к осуществлению, до того ясна и несомненна при всем своем громадном значении, что если бы теперь ко мне пришел какой-нибудь добрый человек и сказал: «Полковник, я поистратился маленько, не одолжите ли вы мне парочку биллионов на...» – Войдите, пожалуйста!

Последние слова были ответом стучавшемуся в дверь. В комнату влетел джентльмен весьма решительного вида с разносной книгой в руках, вынул из нее бумагу и подал хозяину с отрывистым замечанием:

– Семнадцатая и последняя повестка; на этот раз вы непременно должны уплатить три доллара сорок центов, полковник Мельберри Селлерс.

Хозяин принялся шарить то в одном, то в другом кармане, бросаться по комнате туда и сюда, бормоча себе под нос:

– Куда это запропастился мой бумажник?.. Дайте посмотреть... Нет, и тут его не видно. Верно, я оставил его на кухне. Позвольте, я сейчас сбегая...

– Извините, вы не сойдете с места и не отвертитесь от уплаты, как бывало уже столько раз.

Вашингтон по простоте души взялся сходить за бумажником. Когда он вышел, полковник сказал:

– Говоря по правде, я хотел и сегодня прибегнуть к вашей снисходительности, Сеггс. Видите ли, ожидаемый мною перевод из банка...

– К черту ваши переводы! Старая шутка, и увертки не приведут ни к чему. Расплачивайтесь живее!

Полковник с отчаянием огляделся кругом. Вдруг его лицо прояснилось. Он подбежал к стене и принялся смахивать носовым платком пыль с одной ужаснейшей хромофотографии, после чего, благоговейно сняв ее с гвоздя, подал сборщику, отвернулся и произнес:

– Возьмите, только чтоб я не видел, как вы будете уносить мое сокровище. Это единственный уцелевший Рембрандт...

– Какой там Рембрандт, простая хромофотография...

– О, не говорите так, прошу вас. Это единственный великий оригинал, последний высокий образец той мощной школы искусства, которая...

– Хорошо искусство! Это самая отвратительная пачкотня, какую мне...

Но полковник подносил ему уже другое безобразие в дешевой рамке, любовно обмахивая с него пыль.

– Возьмите также и это – лучший перл моей коллекции, единственный, неподдельный фра Анджелико...

– Дрянная раскрашенная картинка, больше ничего, вот ваш фра Анджелико. Ну, давайте его сюда. Прощайте, – люди на улице подумают, что я обокрал негритянскую цирюльню.

Когда он захлопнул за собою дверь, полковник встревоженно крикнул ему вслед:

– Закройте их хорошенько от сырости! Нежные краски фра Анджелико...

Но сборщик уже исчез.

Вошел Гаукинс и объявил, что, несмотря на все старания миссис Селлерс и прислуги, бумажника нигде не удалось найти. Потом он прибавил, что если бы ему посчастливилось выследить на этих днях одного человека, то не было бы нужды отыскивать пропавшего бумажника.

– Какого человека?

– Однорукого Пита, как его называют у нас, в Чироки. Он бежал, обокрав банк в Таликуа.

– Да разве там существуют банки?

– Один-то, во всяком случае, был. Пита подозревают в краже. Пропало больше двадцати тысяч долларов. Сдается мне, что я видел его по дороге сюда, в самом начале пути.

- Не может быть.
 - По крайней мере, на нашем поезде ехал пассажир, приметы которого совершенно совпадали с приметами Пита. И платье точно такое же, и не хватает одной руки.
 - Почему же ты дал маху, не велел арестовать его и не потребовал обещанной награды?
 - Не успел. Он сошел с поезда, вероятно, в продолжение ночи.
 - Ну, это дело дрянь.
 - Не совсем так.
 - А что?
 - Да он прибыл в Балтимору одновременно со мною. Только я не знал тогда об этом. Когда же мы тронулись со станции, я увидел, как он идет к железным воротам с саквояжем в руке.
 - Отлично. Вот мы его и сцапаем. Надо хорошенько составить план.
 - Не уведомить ли нам балтиморскую полицию?
 - Как это можно? Разве тебе хочется, чтобы награда досталась ей?
 - В таком случае, что же делать?
- Полковник принялся соображать.
- Сейчас я тебе скажу. Напечатай объявление в балтиморской газете «Солнце». Текст приблизительно следующий: «А. Черкни мне строчку, Пит»... погоди. Которой руки у него не достает?
 - Правой.
 - Ладно. Итак: «А. Черкни мне строчку, Пит, хотя бы тебе понадобилось писать левой рукой. Адрес: X. Y. Z. Главный почтамт, Вашингтон. Ты знаешь, от кого». Вот он и попадетсЯ на удочку.



- Да разве он будет знать, кто ему пишет?
- Нет, но ему захочется узнать.
- Действительно так. Мне не пришло в голову. Что такое натолкнуло вас на эту мысль?
- Знание людей. Любопытство развито в них до высшей степени.
- Сейчас пойду в свою комнату, напишу объявление и приложу к нему доллар. Пускай напечатают.

ГЛАВА IV

День догорел. После обеда двое приятелей целый вечер проболтали о том, как лучше распорядиться пятью тысячами долларов награды, когда им удастся выследить однорукого Пита, схватить его, удостовериться в личности предполагаемого мошенника, выдать его властям и отправить в Таликуа на индийской территории. Но у них рождалось столько блестящих проектов насчет употребления ожидаемой суммы, что они не могли ни на чем остановиться. Наконец их спор надоел миссис Селлерс, и она сказала:

– Не глупо ли, что вы собираетесь зажарить зайца, не успев его поймать?

Тут интересный предмет разговора был оставлен до другого раза, и вся компания отправилась на боковую. На другое утро, по совету Гаукинса, полковник сделал рисунок и составил описание придуманной им игрушки и пошел хлопотать о патенте на свое изобретение, между тем как приезжий захватил самую модель и отправился бродить по городу, в надежде извлечь из остроумной безделушки какую-нибудь материальную выгоду. Ему пришлось идти не далеко. В маленьком деревянном бараке, служившем некогда жилищем для бедной негритянской семьи, он нашел янки с пронизательными, хитрыми глазами, занимавшегося починкой дешевых стульев и другой мебели средней руки. Этот человек равнодушно повертел в руках игрушку, попробовал сделать заключающийся в ней фокус, но, увидав, что это не так легко, как ему показалось сначала, заинтересовался моделью, а под конец даже увлекся ею. Добившись успеха и загнав свинок в загородку, он спросил:

– Патентованная эта штука?

– Патент будет взят.

– Отлично, сколько вы за нее хотите?

– А почему она будет продаваться?

– По двадцать пять центов, я полагаю.

– Сколько же вы дадите за исключительное право?

– Я не могу предложить и двадцати долларов, если потребуется немедленная уплата. Но вот что можно устроить. Я выпущу игрушку, поставлю на нее свое клеймо и буду выплачивать вам по пять центов с каждой проданной штуки.

Вашингтон вздохнул. Еще одна мечта, разлетевшаяся прахом! Изобретение полковника не стоило ничего. И он сказал предприимчивому столяру:

– Ладно, будь по-вашему. Пишите условие.

Взяв документ, Гаукинс пошел своей дорогой и выбросил это дело из головы, чтобы дать место более заманчивым соображениям насчет того, каким образом употребить половину предстоявшей ему награды в случае, если они с полковником надумают поместить свои деньги сообща в какое-нибудь выгодное мероприятие! Он недолго оставался дома один. Вскоре пришел хозяин, удрученный печалью и в то же время сияющий радостью, причем эти разнородные чувства проявлялись у него порывами то вместе, то порознь. Полковник, рыдая, бросился Гаукинсу на шею и проговорил:

– Плачь со мною, старый дружище; страшное горе поразило мой дом; смерть похитила моего ближайшего родственника, и теперь я граф Росмор, – поздравь меня!

Он обратился к жене, как раз вошедшей в комнату, обнял ее и сказал:

– Надеюсь, вы мужественно перенесете этот удар из любви ко мне. Так было предопределено свыше.

Миссис Селлерс, действительно, выказала большое мужество и, как ни в чем не бывало, заметила мужу:

– Не велика потеря. Симон Латерс был гол как сокол, добрый, но совсем беспутный малый, а его брат – совершенная дрянь!

Законный граф продолжал:

– Я слишком потрясен борьбой грустных и радостных чувств, чтобы мог сосредоточиться на деловых вопросах, а потому хочу попросить нашего друга уведомить о случившемся по телеграфу или по почте леди Гвендолен и дать ей нужные инструкции...

– Какую это леди Гвендолен?

– Нашу бедную дочь... о, Господи! – прибавил полковник, снова заливаясь слезами.

– Салли Селлерс? Уж не рехнулся ли ты, Мельберри?

– Прошу не забывать, кто вы и кто я. Вы должны сохранять свое личное достоинство, но помнить также и о моем. Лучше всего было бы с вашей стороны не упоминать более моей прежней фамилии, леди Росмор.

– Боже мой! Ну, хорошо, я не буду. Как же прикажете мне вас величать?

– Наедине прежние ласкательные имена могут быть терпимы – до известной степени, но при посторонних выйдет гораздо пристойнее, если вы будете называть меня в глаза милордом, а говоря обо мне, – Росмором, или графом, или «его лордством». Кроме того...

– Батюшки мои! Никогда не привыкнуть мне к таким церемониям, Берри.

– Вы должны привыкнуть, моя дорогая. Нам необходимо держать себя сообразно своему теперешнему званию и по мере сил согласоваться с требованиями нового положения.

– Ну, хорошо, будь по-твоему; я никогда не шла наперекор твоим желаниям, Мель... то бишь, милорд, хотя на старости лет трудно переучиваться, да и, на мой взгляд, все это страшнейшая глупость, какую только можно себе вообразить.

– Вот речь, достойная моей милой, преданной жены! Поцелуй меня, и не станем ссориться!

– Хорошо; но... Гвендолен... Не знаю, как мне и привыкнуть к такому имени. Очень уж оно мудреное. Опять же, всем будет невдомек, что под ним скрывается Салли Селлерс. Право, оно слишком пространно для меня. Это все равно что одеть херувима в длинный плащ ниже пятки. И совсем чужое, иностранное имя; я, по крайней мере, такого не слыхивала.

– Однако вы увидите, что наша дочь будет от него в восторге, миледи.

– Истинная правда. Она до смерти любит всякий романтический вздор, точно и родилась для этого. Уж от меня-то Салли не могла унаследовать ничего подобного, могу сказать по совести! На беду еще отдали ее в дурацкий пансион, где она совсем ошалела.

– Не верь ей, Гаукинс, – возразил полковник. – Ровена-Айвенго – самый избранный колледж и аристократический храм науки для молодых девиц в нашей местности. Для того, чтобы туда попасть, нужно быть богатой, фешенебельной или представить доказательства, что твои предки еще за четыре поколения принадлежали к так называемой американской аристократии. Посмотрел бы ты, какой там шик, какая роскошь. Здание в виде древнего замка, с зубчатыми стенами, башнями и башенками, обнесено подобием рва, и каждая часть носит имя какого-нибудь героя из романов Вальтера Скотта. Богатые ученицы держат там свои экипажи, имеют ливрейных кучеров, верховых лошадей с английскими грумами в шляпах, в сюртуках в обтяжку, в ботфортах и с одной ручкой от хлыстика, но без него. В их обязанности входит во время прогулки верхом следовать за своей госпожой в шестидесяти трех футах расстояния...

– И девочки решительно не учатся там ничему путному, Вашингтон Гаукинс, – перебила миссис Селлерс, – делают там из них модных кукол напоказ, да прививают им глупое жеманство совсем не в американском духе. Однако, посылайте же за леди Гвендолен. Если не ошибаюсь, по правилам этикета в домах английских пэров, ей следует вернуться к родителям, чтобы в уединении от света оплакивать смерть этих арканзасских шалопаев.

– Шалопаев!!! Душа моя, помнись. Не забывай – *noblesse oblige*.

– Ах, говори ты со мной, пожалуйста, на своем языке. Ведь ты не знаешь другого, и твоё кривлянье просто смешно. О, впрочем, извините, я опять совершила оплошность, но ведь в

мои годы нельзя в одну секунду бросить свои прежние привычки. Не сердись, Росмор, а ступай лучше к себе да напиши Гвендолен. Вы пошлете ей письмо, Вашингтон, или телеграфируете?

– Он телеграфирует, моя дорогая.

– Я так и думала, – пробормотала миледи, удаляясь. – Должно быть, Мельберри ужасно хочется указать на бланке свой новый титул. Теперь моя дочь окончательно потеряет голову. Деша, конечно, попадет ей в руки, потому что если в колледже и найдутся другие Селлерсы, то ведь они окажутся нетитулованными. Ну, пускай девочка потешит свою гордость. Пожалуй, с ее стороны это вполне простительно. Она так бедна, а ее подруги богачки; вероятно, ей приходится не сладко от тех, которые держат при себе ливрейную челядь. Каждому ведь хочется быть не хуже других.

Негра Даниэля послали на телеграф. Хотя в углу гостиной полковника и виднелась какая-то подозрительная штука, выдаваемая за телефон, но Вашингтону никак не удалось добиться от нее ответа из главного бюро. Хозяин часто ворчал на то, что его аппарат оказывается в неисправности как раз в ту минуту, когда в нем бывает особенная нужда, однако он скромно умалчивал о настоящей причине такой аномалии. Объяснялась же она очень просто: мнимый телефон не имел провода и красовался в комнате только для вида, что не мешало полковнику для пущей важности отдавать через него различные приказания при посторонних. Заказав в магазине почтовую бумагу с траурным ободком и печать, друзья предались отдыху после трудов.

На другой день Гаукинс принялся драпировать черным крепом портрет Эндрю Джексона, а настоящий граф настроил уже известное нам письмо, в котором уведомлял английского узурпатора о постигшем их семейном горе. Вместе с тем он писал и деревенским властям в Деффис-Корнерс, приказывая им набальзамировать тела умерших близнецов при помощи эксперта, выписанного из Сен-Луи, и отправить их в Англию на имя графа Росмора с приложением счета всех расходов. Затем полковник начертил герб и девиз Росморов на огромном листе коричневой бумаги, и они отправились вдвоем с Гаукинсом к новому знакомцу последнего, хитрому янки, занимавшемуся починкой мебели. Он в какой-нибудь час смастерил ошеломляющие траурные гербы, которые и были прибиты на лицевом фасаде дома, с расчетом на сенсацию.

И расчет действительно удался. Толпы праздных негров с множеством оборвышей-ребятишек и бродячих собак сбежались со всей округи на это необычайное зрелище, которое послужило им развлечением на много дней подряд.

Новоиспеченный граф нимало не удивился при виде этой публики, как не удивлялся и нижеследующей заметке в вечерней газете. Он тщательно вырезал ее и поместил в свой альбом.

«Вследствие недавней смерти своего родственника наш высокопочтенный согражданин, полковник Мельберри Селлерс, несменяемый свободный член дипломатического корпуса, сделавшись по закону главой графского дома Росморов, третьего по своему значению в ряду графских фамилий Великобритании, и намерен принять безотлагательные меры, ходатайствуя перед палатой лордов о признании его прав на титул и поместья этого знаменитого рода, несправедливо захваченные теперешним владельцем. До окончания срока траура обычные приемы по четвергам в Росмор-Тоуэрсе будут прекращены».

А леди Росмор размышляла про себя: «Приемы! Люди, которые не знают хорошенько моего мужа, могут счесть его пошляком, но, по-моему, он один из самых необыкновенных людей. Относительно внезапности действий и изобретательности, я полагаю, он не имеет себе равного. Ну, кому, например, придет в голову окрестить эту убогую крысиную нору Росмор-Тоуэрсом, а ведь он сейчас придумал! Хорошо иметь воображение, которое делает вас довольным, в каком бы положении вы не очутились. Недаром дядя Дэв Гопкинс всегда говаривал: «Обратите меня в Джона Кальвини, и я буду затрудняться, как поступать; обратите меня в Мельберри Селлерса, и мне станет море по колено».

Размышления законного графа про себя:

«Росмор-Тоуэрс! Каково название?! Просто шик! Жаль, что я не употребил его в письме к узурпатору. Ну, впрочем, не беда; можно сделать это в другой раз».

ГЛАВА V

Ни ответа на телеграмму, ни дочери. Однако один Вашингтон удивлялся этому и выказывал некоторую тревогу. После трех дней ожидания он спросил у леди Росмор, какая может быть тому причина. И она совершенно спокойно отвечала:

– О, вы никогда не можете предугадать, как поступит Салли. Ведь она настоящая Селлерс, по крайней мере, во многих отношениях, а Селлерсы ни за что не могут сказать вам заранее, что они сделают, потому что и сами того не знают. Поверьте мне, она жива и здорова, о ней нечего беспокоиться. Устроив свои дела, моя дочь приедет или напишет, тогда все и узнается.

Наконец известие пришло в виде письма, которое было распечатано матерью без всякой лихорадочной поспешности, без дрожи в руках и других проявлений чувств, как бывает обыкновенно при запоздалых ответах на важные телеграммы. Она старательно протерла очки, продолжая любезно беседовать с гостем, не спеша развернула листок и стала читать его вслух:

*«Кенильворт-Кип, Редгаунтлет-Голл,
Ровена-Айвенго, колледж.
Четверг.*

Дорогая, бесценная мама Росмор.

О, как я рада, вы не можете себе представить! Вы знаете, они всегда задирали передо мною носы, когда слышали о наших родственных связях, и я по мере сил платила им тем же. По их словам, пожалуй, приятно быть законной тенью графа, но быть тенью тени, да еще получать при этом щелчки, это уж никуда не годится. А я постоянно возражала, что иметь за собою четыре поколения предков-торгашей, каких-нибудь Педлеров да Мак-Алистеров, еще куда ни шло, но быть вынужденным сознаться в таком происхождении – благодарю покорно. Итак, ваша телеграмма произвела действие циклона. Рассыльный вошел прямо в большую приемную залу, которая называется у нас Роб-Ройской, и торжественно произнес нараспев: «Депеша леди Гвендолен Селлерс!» Ах, если бы вы видели сборище этих хихикавших и болтавших аристократок из-за прилавка, внезапно окаменевших на месте! Я скромно ютилась в уголке, как и подобает Сандрильоне. Прочитав телеграмму, я попробовала упасть в обморок, и это бы мне удалось, если бы я успела подготовиться, но все случилось совершенно внезапно. Впрочем, не беда, и так вышло хорошо: прижав платок к глазам, я побежала, рыдая, в свою комнату, как бы нечаянно уронив телеграмму. Но все же на один миг я посмотрела краешком глаза на подруг, и этого было мне достаточно, чтобы увидеть, как они вырывают одна у другой поднятый листок. Потом я полетела дальше, в мнимом припадке отчаяния, веселая в душе, как птичка.

Тут меня осадил изъяснением участия. Визиты были до того многочисленны, что мне пришлось принимать посетительниц в гостиной мисс Августы-Темпльтон-Ашмор-Гамильтон. Моя же собственная комната, где могут поместиться всего три человека с кошкой в придачу, оказалась слишком тесна для нахлынувшей публики. Еще до сих пор я продолжаю быть предметом общего внимания по случаю траура и защищаюсь от попыток навязаться мне в родственники. И представьте себе, что первой явилась ко мне с соболезнованиями эта сумасбродная девчонка Скимпертон, которая

постоянно поддразнивала меня, играя роль самой важной особы в колледже на том основании, что кто-то из ее предков когда-то был Мак-Алистером. Право, это одно и то же, как если бы самая ничтожная птица в зверинце вздумала чваниться своим происхождением от допотопного птеродактиля.

Но попробуйте угадать, в чем состояло мое величайшее торжество. Ни за что не угадаете! Вот в чем. Эта глупышка и две других постоянно оспаривали одна у другой первенство, по званию, конечно. Из-за этого они чуть не уморили себя голодом, потому что каждая старалась встать первой из-за стола, причем ни одна из них не доедала своего обеда, а норовила вскочить посередине, чтобы оказаться во главе остальных. Хорошо. Целый день я провела в уединении – как будто предаваясь печали, а на самом деле мастерила себе траурное платье, но на следующий вышла к общему столу, и что же, как бы вы думали? Эти три надутые гусыни сидели себе преспокойно целый обед. Уж они чавкали-чавкали, лакали-лакали, ели-ели, вознаграждая себя за долгий пост, так что глаза у них замаслились, и все время смиренно ожидали, когда леди Гвендолен соблаговолит первая подняться из-за стола.

Да уж, могу сказать: теперь на моей улице праздник. И представьте, ни одна из наших пансионеров не имела жестокости спросить, каким образом у меня оказалось новое имя. Одни воздержались от этого из человеколюбия, а другие по иным соображениям. В настоящем случае в них сказалась не природная доброта, а строгая выдержка. Это я их вышколила так отлично.

Когда я покончу здесь все старые счета и в достаточной степени упыюсь воскуряемым мне фамилиамом, то соберу свои пожитки и приеду к вам. Передайте папе, что я так же люблю его, как и мое новое имя. Какая счастливая идея пришла ему! Впрочем, у него никогда не было недостатка в счастливых идеях.

Ваша любящая дочь Гвендолен».

Гаукинс потянулся за письмом и бросил на него взгляд.

– Хорошая рука, – заметил он. – Уверенный, твердый и смелый почерк. Видно, что ваша дочь бойкого характера.

– О, все они бойкие, Селлерсы. То есть, я хочу сказать: были бы такими, если бы их было много. Даже и бедные Латерсы не повесили бы носов, будь они Селлерсами; я подразумеваю – чистокровными. Конечно, и в них билась та же самая жилка, и даже очень сильно, но между фальшивым долларом и настоящим все-таки большая разница.

На седьмой день после отправки телеграммы Вашингтон в задумчивости вышел к утреннему завтраку, но тут же очнулся, охваченный внезапным спазматическим восторгом. Перед ним появилось самое восхитительное юное создание, какое он когда-либо встречал в своей жизни. То была Салли Селлерс, леди Гвендолен, приехавшая ночью. И ему показалось, что на ней самое хорошенькое, самое изящное платье, какое только можно себе вообразить; что оно превосходно сидит на молодой девушке и представляет чудо изысканного вкуса по своему фасону, отделке, мастерскому исполнению и ласкающей гармонии цветов. А между тем это был простенький и недорогой утренний туалет. Теперь Гаукинсу стало понятно, почему, несмотря на вопиющую бедность, обстановка в ломе Селлерсов отличалась такой привлекательностью, так ласкала глаз и производила такое умиротворяющее впечатление своей гармонией. Перед ним была налицо сама волшебница посреди чудес, созданных ее руками, и придавала своей собственной персоной настоящий колорит и законченность общей картине.

– Дочь моя, майор Гаукинс, приехала домой разделить печаль родителей, прилетела на скорбный призыв помочь им перенести тяжкую утрату. Она ужасно любила покойного графа, обожала его, сэр, обожала...

– Что вы, папа, да я его никогда не видела.

– Правда, правда, я хотел сказать это о... кхэ!.. о ее матери.

– Я обожала эту прокопченную треску? Этого беспутного мямлю, этого...

– Ну, да, не ты, а я боготворил его. Несчастный, благородный малый! Мы были неразлучными това...

– Послушайте, что он мелет! Мельберри Сель... Мель... Росмор! Никогда мне не привыкнуть к этому мудреному имени. Не один, а тысячу раз ты говорил мне, что этот злополучный баран...

– Ну, хорошо, хорошо, я перепутал; я хотел сказать это про кого-то другого; теперь и сам не знаю, про кого. Но не в этом дело; кто-то действительно боготворил покойника, я это отлично помню, и еще...

– Папа, я хотела бы пожать руку майору Гаукинсу и познакомиться с ним поближе. Я вас отлично помню, майор, хотя была еще ребенком, когда мы виделись с вами в последний раз. Мне очень, очень приятно возобновить наше знакомство; ведь вы для нас все равно что родной.

И сияя приветливой улыбкой, она пожала ему руку, выразив надежду, что и он не забыл ее.

Такой задушевный привет растрогал Вашингтона, который в благодарность за него готов был уверить девушку, что он отлично помнит ее, даже лучше собственных детей, но факты, очевидно, говорили противное, а потому у него в довольно несвязной речи как-то само собою вырвалось откровенное признание, что ее необычайная красота поразила его, что он до сих пор не может прийти в себя, а потому не вполне уверен, помнит ли ее или нет. Этот ответ заслужил Вашингтону расположение красавицы, и они стали друзьями.

В самом деле, красота этого прелестного создания была редкого типа. Она заключалась главным образом не в глазах, не в форме носа, рта, подбородка, а в гармоническом сочетании всех отдельных частей. Настоящая красота зависит более от правильного размещения и точного распределения линий, чем от их множества. То же относится и к цвету лица. Комбинация красок, которая при вулканическом извержении придает прелесть ландшафту, может обезобразить женское лицо.



С ее приходом семейный кружок оказался в полном составе, и было решено приступить к официальным поминкам. Они должны были начинаться ежедневно в шесть часов вечера (время обеда) и кончаться вместе с обедом.

– О, наш род, майор, такой важный и знаменитый, такой славный, что непременно требует королевских, скажу даже императорских, поминок. Э... леди Гвендолен! Ушла? Ну, все равно. Мне нужна моя книга пэров. Я сейчас принесу ее сам и покажу вам кое-какие подробности, которые дадут вам яркое понятие о том, что такое наша фамилия. Я просматривал Бюрка и нашел, что из шестидесяти четырех незаконных детей Вильгельма Завоевателя... Милая моя, не принесешь ли ты мне эту книгу? Она на письменном столе в твоём будуаре. Так вот, я говорил, что только дома Сент-Альбанов, Бекле и Графтонов стоят выше нашего в общем списке; вся же остальная британская знать тянется длинной вереницей за нами. Ах, благодарю вас, миледи. Теперь мы возвращаемся к Вильгельму и находим... Письмо на имя Х. У. З. Превосходно! Когда ты получил письмо?

– Вчера вечером; но я заснул, не дождавшись вас; вы вернулись так поздно, а когда я пришел сегодня к завтраку, мисс Гвендолен... она, право, отшибла у меня всякую память.

– Чудная девушка, чудная. Знатное происхождение сказывается и в ее поступи, и в чертах, и в манере, но посмотрим, однако, что пишет тот. Это ужасно интересно.

– Я не читал письма, э... Роем... мистер Роем... э...

– Милорд! Произноси как можно отрывистей. Так принято в Англии. Я сейчас распечатаю. Ну, теперь давайте посмотрим:

«А. Вы знаете, кому. Думаю, что я знаю вас. Подождите десять дней. Приеду в Вашингтон».

На лицах обоих приятелей выразилось разочарование. Наступила пауза. Потом майор произнес со вздохом:

– Но ведь мы не можем дожидаться денег десять дней.

– Нет. Малый ужасно безрассуден. Ведь с точки зрения финансов мы совсем сидим на мели.

– Если бы можно было дать ему понять тем или другим способом, что нам невтерпёж!

– Да, да, вот именно – и что если бы он сообразовал пожаловать поскорее, это было бы с его стороны большим одолжением, которое мы...

– Которое мы...

– Сумеем оценить...

– Именно... и как нельзя лучше вознаградить...

– Разумеется. Это сейчас подденет его. Говоря по правде, если в нем бьется человеческое сердце, если ему не чужды гуманные чувства к ближнему, он явится сюда в двадцать четыре часа. Перо и бумагу. Сейчас за дело.

Друзья набросали двадцать два различных объявления, но ни одно из них не годилось. Все они имели одну слабую сторону: если прибегнуть к сильным выражениям, Пит сейчас раскусит, чем это пахнет, у него явится подозрение, а в более мягкой форме выйдет сухо и не произведет надлежащего действия. Наконец, полковник бросил все дело и сказал:

– Я заметил, что в подобных литературных упражнениях, чем больше стараешься замаскировать свое настоящее намерение, тем менее это удастся. Когда же вы беретесь за писание с чистой совестью, не имея надобности что-либо скрывать, вы можете настрочить целую книгу, в которой сам черт ничего не разберет. Так сочинители и делают.

Гаукинс также отложил в сторону перо, и оба решили как-нибудь извернуться, чтобы можно было подождать десять дней. Они даже развеселились потом немного: имея впереди кое-что определенное, разве нельзя призанять денег под предстоящую награду или как-нибудь дотянуть до получки? А тем временем будет усовершенствован способ материализации – и тогда конец всем печалям.

На другой день, 10 мая, случились, между прочим, два знаменательных события. Останки благородных арканзасских близнецов отплыли из Америки в Англию по адресу лорда Росмора, тогда как лорд Росмор-сын Киркудбрайт-Ллановер-Марджиорибэнкс-Селлерс, виконт Берклей, отплыл из Ливерпуля в Америку с тем, чтобы передать свои права на графскую корону настоящему лорду Мельберри Селлерсу из Росмор-Тоуэрс, в округе Колумбия в Соединенных Американских Штатах.

Этим двум кораблям, имевшим такую связь, предстояло встретиться пять дней спустя посреди Атлантического океана и разойтись, не обменявшись приветственными сигналами.

ГЛАВА VI

Немного времени спустя прах близнецов прибыл по назначению и был доставлен знаменитому родственнику. Не пытаемся даже описывать страшное бешенство старого лорда. Однако, дав перекипеть своему гневу, он мало-помалу успокоился и пришел к тому заключению, что умершие братья Латерсы имели кое-какие моральные, если не легальные, права на наследство, что они приходились ему единокровными, и потому было бы неблагоприятно отнестись к ним, как к первым встречным. Таким образом, граф распорядился похоронить близнецов вместе с их знатным родством в церкви Кольмондлейского замка, с подобающей честью и пышностью. Он даже придал особую торжественность церемонии, явившись в ней главным действующим лицом, но выставить траурные гербы на своей резиденции не считал нужным.

Тем временем наши друзья в Вашингтоне коротали скучные дни, поджидая Пита и осыпая его упреками за преступную медлительность. Что же касается Салли Селлерс, которая была настолько же практичной и демократкой, насколько леди Гвендолен была романтической и аристократкой, – то она не сидела сложа руки и извлекала как можно больше пользы из своего двойственного положения. Целый день в уединении рабочей комнаты Салли Селлерс добывала для семьи насущный хлеб, а целый вечер леди Гвендолен Селлерс поддерживала достоинство графов Росморов. Днем она была американка, энергичная, гордившаяся делом своих рук и его практической пользой, а по вечерам для нее наставал праздник, когда она витала в волшебной фантастической стране, населенной титулованными и коронованными призраками, созданными ее воображением. При дневном свете их жилище было в ее глазах убогой ветхой развалиной и ничем больше, но под таинственным покровом ночи оно обращалось в Росмор-Тоуэрс. В пансионе она незаметно выучилась шитью. Подруги находили, что Салли удивительно удачно придумывает свои костюмы. Ободренная заслуженной похвалой, девушка не знала после того ни минуты праздности, да и не тяготилась этим, потому что развитие своих талантов доставляет величайшее удовольствие в жизни, а Салли Селлерс положительно обладала даром создавать превосходные костюмы. Не прошло и трех дней с ее приезда домой, как она уже добыла себе кое-какую работу! А прежде чем наступил срок, назначенный Питом, и близнецы нашли себе вечное упокоение в недрах английской земли, молодая девушка была почти завалена работой, так что ее родителям не приходилось более жертвовать семейными хромолитографиями на покрытие долгов.

– Молодец у меня дочь, – говорил Росмор майору, – вся в отца. Ловко работает головой и руками и не стыдится этого. За что ни возьмется, ни в чем не знает неудачи. Совсем американка по усвоенному национальному духу, и в то же время вполне английская аристократка по унаследованному кровному благородству. Ни дать ни взять, я сам: Мельберри Селлерс в сфере финансов и изобретательности. А после деловых часов кого ты находишь во мне? Платье то же, но кто в нем? Росмор, пэр Англии!

Оба приятеля ежедневно наведывались на главный почтамт. Наконец их терпение было вознаграждено. К вечеру 20 мая они получили письмо с городским штемпелем. На нем не было выставлено числа, и оно гласило следующее:

«Бочонок с золою у фонарной будки в аллее Черного Коня. Если вы играете вчистую, то ступайте и сядьте на него завтра поутру, 21-го, в 10 часов 22 минуты, не раньше, не позже, и ждите, пока я приду».

Друзья призадумались над письмом. Наконец граф заметил:

– Понимаешь ты, он трусит, подозревая, что за нами кроется шериф с понятами.

– Из чего же это вы заключаете, милорд?

– Из того, что на указанном месте нельзя расположиться для дружеской беседы. Ничего нет радушного в таком приглашении. Ему, очевидно, хочется, не подвергая себя опасности

и не обнаруживая любопытства, узнать, кто будет жариться под лучами солнца на бочонке с золою. А это очень легко устроить. Остановившись на углу улицы, он окинет взглядом аллею и увидит что нужно.

– Да, его хитрость ясна. Конечно, это человек с нечистой совестью, потому что не хочет действовать открыто. Верно, он принимает нас за каких-нибудь негодяев. То ли дело, если бы он поступил, как следует порядочному малому, и дал знать, в какой гостинице...

– Стой, Вашингтон! Ты как раз угодил в точку. Он уже сообщил нам это.

– Каким образом?

– А вот каким, хотя, разумеется, это вышло с его стороны нечаянно. Маленькая уединенная аллея Черного Коня примыкает с одной стороны к «Нью-Гэдсби». В этой гостинице он и остановился.

– Что заставляет вас вывести подобное заключение?

– Да уж я отлично знаю. Он взял комнату против самой фонарной будки, и завтра преспокойно сядет у окна со спущенными занавесками в 10 часов 22 минуты, а когда увидит нас сидящими на бочонке с золою, то скажет себе: «Одного из этих людей я видел в поезде», схватит в мгновение ока саквояж и удерет на край света.

Гаукинсу сделалось даже дурно при таком разочаровании.

– Все пропало, полковник; он непременно удерет, как пить дать!

– Нет, ошибаешься, он останется.

– Останется? Почему?

– Потому что не ты будешь сидеть на бочонке с золою, а я. Ты же подоспеешь с полицейским комиссаром и понятиями в полной форме – то есть это один офицер будет, конечно, в полной форме, – и вы нагрянете к нему, как только он подойдет и заговорит со мною.

– Ах, что за голова у вас, полковник Селлерс! Ведь мне никогда в жизни не придумать бы этого.

– Да не только тебе, а даже ни единому из графов Росмор, сколько их ни было в нашей родословной, начиная от Вильгельма Завоевателя и кончая Мельберри в качестве графа. Но теперь деловые часы, и граф во мне молчит. Пойдем, я покажу тебе самую комнату Пита.

Они очутились поблизости от «Нью-Гэдсби» около девяти часов вечера и прошли по аллее до фонарной будки.

– Вот оно, – с торжествующим видом произнес полковник, проводя рукой по воздуху и указывая на целый фасад гостиницы. – Вот оно где. Что, не говорил я тебе?

– Посудите, полковник, да ведь тут шесть этажей. Которое же из этих окон...

– Все окна, все. Пускай выбирает любое. Это для меня безразлично, раз я открыл его пристанище. Ступай, стань на углу и жди, а я обойду гостиницу.

Полковник походил туда и сюда среди сновавшего люда и, наконец, выбрал себе наблюдательный пост поблизости от эскалатора. Целый час публика массажи поднималась вверх и спускалась вниз, но у всех этих людей руки и ноги оказывались в целости. Наконец Росмор увидел одну подозрительную фигуру, увидел, правда, сзади, потому что не успел заглянуть ей в лицо. Но и беглого взгляда было для него достаточно. Перед ним мелькнула пастушья шляпа, завернутый в плед ручной саквояж и пустой рукав пальто, припиленный к плечу. В ту же минуту эскалатор поднялся и скрыл незнакомца с глаз. Селлерс, сияя восторгом, побежал к своему сообщнику.

– Ну, мошенник теперь в наших руках, майор! крикнул он. – Я отлично видел его и узнаю где угодно и когда угодно, если этот человек повернется ко мне спиной. Вот мы и готовы! Остается заручиться содействием полиции.

Добившись желаемого – не без проволочек и хлопот, неизбежных в подобном случае, – приятели вернулись в половине двенадцатого домой в самом счастливом настроении и легли спать, мечтая о завтрашнем многообещающем дне. Посреди пассажиров на эскалаторе,

где находился человек, заподозренный полковником в тождественности с одноруким Питом, стоял, между прочим, молодой родственник Мельберри Селлерса, но Мельберри его не видел и не догадывался, что так близко от него был виконт Берклей.

ГЛАВА VII

Придя к себе в комнату, лорд Берклей прежде всего вздумал занести в свой дневник последние «путевые впечатления», – что представляет для каждого англичанина-туриста нечто вроде священной обязанности. Приготавливаясь к этому занятию, он распаковал чемодан. Хотя на столе нашлись все письменные принадлежности, но там у чернильницы лежали одни стальные перья. Известно, что английская нация снабжает ими девятнадцать двадцатых населения всего земного шара, но истинный англичанин непременно предпочтет для собственного употребления доисторическое гусиное перо. Так поступал и наследник Росморов. Отыскав у себя в чемодане отличное гусиное перо, какого ему уже давно не попадалось, он принялся строчить свои заметки и, прилежно проработав над ними некоторое время, заключил запись следующими строчками:

«В одном я сделал непростительную ошибку. Прежде отплытия из Англии мне следовало сложить с себя свой титул и переменить фамилию».

Полюбовавшись немного своим пером, действовавшим скорее как мазилка, он продолжал:

«Все мои попытки слиться с простым народом и стать в его ряды останутся бесплодными до тех пор, пока я не стушуюсь на время, чтобы появиться потом под другим, вымышленным именем. Меня неприятно поражает в американцах их стремление знакомиться с английской знатью и заискивать перед ней. Хотя в них еще нет свойственного англичанам раболепия перед аристократией, однако оно угрожает скоро к ним привиться. Мое громкое имя самым непостижимым образом опережает меня. Так, между прочим, я записал свою фамилию, без прибавления титула, в списке приезжих в здешней гостинице, мечтая сойти за неизвестного путешественника простого происхождения, но конторщик тотчас крикнул: «Проводите милорда в комнату на лицевой стороне, на четвертом этаже, номер восемьдесят второй!» И прежде чем я успел добраться до подъездной машины, ко мне подскочил уже газетный репортер, желавший «интервьюировать» меня, как это здесь зовется. Нужно положить конец такому абсурду. Завтра же отправлюсь пораньше на поиски нашего американского претендента, исполню свой долг по отношению к нему, потом перемену квартиру и скроюсь от назойливого любопытства под вымышленным именем».

Берклей оставил дневник на столе, на случай, если бы ему вздумалось занести туда еще какие-нибудь «впечатления» даже ночью, лег в постель и крепко заснул. Прошел час или два; вдруг он смутно почувствовал сквозь сон, что происходит что-то неладное. Минуту спустя виконт опять очнулся под оглушительный стук и грохот, хлопанье дверьми, крики и топот, раздававшиеся по всему отелю. Испуганный ночной тревогой, он вскоре различил в этом адском гвалте стук отворяемых окон, звон разбитого стекла, шлепанье босых ног по коридору, наконец, заглушаемые стоны, вопли отчаяния, мольбы и хриплую, отрывистую команду с улицы. Все кругом трещало, обрушивалось, и победоносное пламя со свистом вырывалось наружу.

Раздался торопливый стук в дверь:

– Спасайтесь! Горим!

Удары смолкли; голос замер в отдалении. Лорд Берклей вскочил с кровати и в темноте, среди удушливого дыма, бросился наудачу отыскивать вешалку с платьем; к несчастью, он споткнулся о стул, упал и заблудился впотьмах. В отчаянии он стал шарить вокруг себя по полу, ползал на руках и вдруг больно ударился головой об стол. Это было его спасением. Стол стоял как раз у двери. Схватив с него самый драгоценный для себя предмет – свой дневник, виконт опрометью выбежал из комнаты. Потом он пустился что есть духу по безлюдному коридору к тому месту, где красный фонарь обозначал выход на случай пожара. Дверь комнаты у фонаря оказалась отворенной; здесь пылал газовый рожок, пущенный вовсю, а на стуле лежало сверну-

тое мужское платье. БерклеЙ подскочил к окну, но не мог отворить его, а высадил попавшимся под руку стулом. Выбравшись на верхнюю площадку пожарной лестницы, молодой человек взглянул вниз. Там, у подножия здания, галдела и суетилась толпа народа. В море мужских голов мелькали кое-где женские и детские. Яркое пламя обливало эту подвижную картину колеблющимся багровым светом. Неужели он спустится туда в неприличном ночном костюме, точно выходец с того света? Нет, эта часть отеля еще не охвачена пламенем; горит только дальний край фасада. Он успеет надеть на себя чужое платье, оставленное здесь. Сказано – сделано. Платье пришлось ему по росту, но было широковато и отличалось вульгарной пестротой. Шляпа также удивила его своим фасоном. Одна половина сюртука наделась отлично, но в другую он никак не мог влезть: один рукав был откинут и пришпилен к плечу. Молодой лорд не стал возиться второпях; накинув одежду на плечо, он благополучно спустился с лестницы, и полицейские немедленно вывели его на безопасное место, за веревку, которою было оцеплено горящее здание, чтобы не подпускать к нему близко толпу. Шляпа странного фасона и сюртук с болтавшимся рукавом сделали виконта предметом любопытства уличных зевак, хотя народ даже слишком почтительно расступался перед ним, давая дорогу. По этому поводу он в пылу досады составил уже в голове новую заметку, собираясь первым долгом внести ее поутру в свой дневник: «Все напрасно. Американцы узнают лорда, несмотря ни на какое переодевание, и станут выказывать перед ним благоговение, граничащее с трепетом».

Выбравшись на простор, БерклеЙ надел сюртук в оба рукава и пошел отыскивать себе скромное, покойное помещение. Это ему скоро удалось. Устроившись кое-как на новом месте, он лег в постель и скоро заснул. Поутру виконт осмотрел свое платье; оно хотя и не пришлось ему по вкусу, но было новое и опрятное. В карманах оказались ценности на довольно значительную сумму. Пять билетов по сто долларов. Около пятидесяти долларов мелкими ассигнациями и серебром. Сверх того, там нашлись и другие вещи: картуз табака, молитвенник, который не открывался, потому что служил футляром для флакона виски, – и записная книжечка без имени владельца. В ней были разбросаны отрывочные безграмотные заметки, написанные нетвердым почерком, записи жалованья, суммы выигрышей и проигрышей на пари, счета по содержанию и покупке лошадей. Попадавшиеся здесь имена поражали своей странностью: «Шестипалый Джек», «Молодой человек, боящийся собственной тени» и т. п. Ни писем, ни документов.



Виконт задумался, как ему быть. Его чековая книжка сгорела. В таком случае он заимо-образно воспользуется мелкими ассигнациями и серебром, найденными в карманах платья, часть этих денег употребит на газетные объявления, чтобы отыскать неизвестного владельца, а на остальное будет жить, приискивая себе работу. Первым делом Берклей послал за утренней газетой, желая прочитать описание пожара. И что же? На первой странице ему бросилось в глаза напечатанное жирным шрифтом известие о своей собственной смерти! Репортер не поспешил на подробности. В статье было обстоятельно изложено, как виконт Берклей, с природным героизмом знатного дворянина, спасал из огня женщин и детей, пока его собственное

спасение стало невозможным. «Тут, в виду целой массы народа, проливавшей слезы, он скрестил руки, спокойно ожидая приближения неумолимого врага, и, стоя таким образом посреди бушующего огненного моря и клубов дыма, благородный юный наследник знаменитого графского рода Росморов был охвачен вихрем пламени и в этом пылающем ореоле навсегда скрылся от человеческих взоров».

Все это было до того благородно, великодушно и прекрасно, что виконт невольно умилился до слез над своим собственным рыцарским самоотвержением. Наконец он сказал себе: «Теперь я знаю, что делать. Милорд Берклей умер. Пусть будет так. Он умер с честью, и это послужит утешением отцу. После этого мне не нужно обращаться к американскому претенденту. Обстоятельства сложились как нельзя лучше. Остается только принять другое имя, чтобы вступить на новый путь. В первый раз я могу вздохнуть вполне свободно. И как легко мне делается, какая свежесть и энергия вливаются в грудь! Наконец-то я сделался человеком, стал на равную ногу со всеми. Только своими личными заслугами, как подобает мужчине, хочу я добиться житейского успеха или погибнуть, если окажусь не способным к борьбе. Сегодня счастливейший день в моей жизни, самый безоблачный и радостный!»

ГЛАВА VIII

- Эдакое несчастье, Гаукинс!
- И утренняя газета выпала из рук полковника.
- В чем дело?
- Он погиб! Светлая личность, юный, даровитый, благороднейший из своего знаменитого рода. Погиб среди пламени, в сиянии лучезарного ореола!
- Да кто погиб-то?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.